

БИБЛИОТЕКА

ОГОНЁК



Тэффи

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ТЕРРА»
КНИЖНЫЙ КЛУБ

«**Ке фер?**»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

Издается с 1925 года

ТЭФФИ

«КЕ ФЕР?»



Издательский дом «Огонек» — «Терра—Книжный клуб»
Москва — 2008

ОТ АВТОРА

Тэффи (1872–1952): именно такой, едва ли не детский псевдоним выбрала себе писательница Надежда Александровна Бучинская. Свой литературный путь она начала с писания стихов, но вскоре отдала предпочтение прозе. Ее очерки и новеллы, рассказы об окружающей жизни, самые разные — веселые и грустные — неизменно наполнены любовью к близким своим. И наградой писательнице была поистине всенародная любовь.

Серебряный век русской литературы дал отблеск и в созданном в 1908 г. журнале «Сатирикон». Редактором и душой этого совершенно нового явления в отечественной смеховой стихии был Аркадий Аверченко, заслуживший титул «короля русского смеха». Королевой же стала Тэффи.

В годы революции и Гражданской войны писательница вместе со своими читателями пережила лишения и ужасы междоусобной розни. В потоке беженцев, покинувших родину, Тэффи обосновалась в Париже, где в меру своих сил и таланта поддерживала духовную стойкость соотечественников, «в рассеянии сущих». В последних книгах Тэффи появились и трагикомические ноты, которые были созвучны новым испытаниям, выпавшим на долю русским людям в годы Второй мировой войны. Последняя книга Тэффи «Земная радуга» вышла в Нью-Йорке в 1952 г., в год ее кончины.

Уважаемые читатели!

Ваши отзывы и предложения отправляйте по адресу

bibl@kkterra.ru

© Издательский дом «Огонек»,
внешнее оформление, 2008

© Терра—Книжный клуб, 2008

1-Е АПРЕЛЯ

1-е апреля — единственный день в году, когда обманы не только разрешаются, но даже поощряются. И — странное дело — мы, которые в течение трехсот шестидесяти пяти, а в високосный год трехсот шестидесяти шести дней так великолепно надуваем друг друга, в этот единственный день — первого апреля — окончательно теряемся.

В продолжение двух-трех дней, а некоторые так и с самого Благовещения ломают себе голову, придумывая самые замысловатые шутики.

Покупаются специальные первоапрельские открытки, составленные тонко, остроумно и язвительно. На одной, например, изображен осел, а под ним подписано:

«Вот твой портрет».

Или, еще удачнее: на голубой траве пасется розовая свинья, и подпись: «Ваша личность».

Все это изящно и ядовито, но, к сожалению, очень избито. Поэтому многие предпочитают иллюстрировать свои первоапрельские шуточки сами.

Для этого берется четвертушка почтового листа, на ней крупно, печатными буквами, выписывается слово «дурак» или «дура», в зависимости от пола адресата.

Буквы можно для изящества раскрасить синими и красными карандашами, окружить завитушками и сиянием, а под ними приписать уже мелким почерком:

«Первое апреля».

И поставить три восклицательных знака.

Этот способ интриги очень забавен, и, наверное, получивший такое письмо долго будет ломать себе голову и перебирать в памяти всех знакомых, стараясь угадать остряка.

Многие изобретательные люди посылают своим знакомым дохлого таракана в спичечной коробке. Но это тоже хорошо изредка, а если каждый год посылать всем тараканов, то очень скоро можно притупить в них радостное недоумение, вызываемое этой тонкой шуточкой.

Люди привыкнут и будут относиться равнодушно:

— А, опять этот идиот с тараканами! Ну бросьте же их поскорее куда-нибудь подальше.

Разные веселые шуточки вроде анонимных писем:

«Сегодня ночью тебя ограбят» — мало кому нравятся.

В настоящее время в первоапрельском обмане большую роль играет телефон.

Выберут по телефонной книжке две фамилии поглупее и звонят к одной:

— Барин дома?

— Да я сам и есть барин.

— Ну, так вас господин (имярек второго) немедленно просит приехать к нему по такому-то адресу. Все ваши родственники уже там и просят поторопиться.

Затем трубку вешают, и остальное предоставляется судьбе.

Но лучше всего, конечно, обманы устные.

Хорошо подойти на улице к незнакомой даме и вежливо сказать:

— Сударыня! Вы обронили свой башмак.

Дама сначала засуетится, потом сообразит, в чем дело. Но вам незачем дожидаться ее благодарности за вашу милую шутку. Лучше уходите скорее.

Очень недурно и почти всегда удачно выходит следующая интрига: разговаривая с кем-нибудь, неожиданно воскликните:

— Ай! У вас пушинка на рукаве!

Конечно, найдутся такие, которые равнодушно скажут:

— Пушинка? Ну и пусть себе. Она мне не мешает.

Но из восьмидесяти один, наверное, поднимет локоть, чтобы снять выдуманную пушинку.

Тут вы можете, торжествуя, скакать вокруг него приплясывая и припевать:

— Первое апреля! Первое апреля! Первое апреля!

С людьми, плохо поддающимися обману, надо действовать нахрапом.

Скажите, например, так:

— Эй! Вы! Послушайте! У вас пуговица на боку!

И прежде чем он успеет выразить свое равнодушие к пуговице или догадку об обмане, орите ему прямо в лицо:

— Первое апреля! Первое апреля! Первое апреля!

Тогда всегда выйдет, как будто бы вам удалось его надуть — по крайней мере, для окружающих, которые будут видеть его растерянное лицо и услышат, как вы торжествуете.

Обманывают своих жен первого апреля разве уж только чрезмерные остроумцы. Обыкновенный человек довольствуется на сей предмет всеми тремястами шестьдесятю пятью днями, не претендуя на этот единственный день, освященный обычаем.

Для людей, которым противны обычные пошлые приемы обмана, но которые все-таки хотят быть внимательными к своим знакомым и надуть их первого апреля, я рекомендую следующий способ.

Нужно влететь в комнату озабоченным, запыхавшимся, выпучить глаза и закричать:

— Чего же вы тут сидите, я не понимаю! Вас там, на лестнице, Тургенев спрашивает! Идите же скорее!

Приятель ваш, испуганный и польщенный визитом столь знаменитого писателя, конечно, ринется на лестницу, а вы бегите за ним и там уже, на площадке, начните перед ним приплясывать:

— Первое апреля! Первое апреля! Первое апреля!

ВИЗИТЕРКА

Отдали ли вы все визиты, которые должны были отдать?

Получили ли все визиты, которые должны были получить?

Подумайте! Припомните! Ведь еще можно, вероятно, поправить все упущения.

Я знаю, что такое визиты. Я знаю, как возникают визитные отношения против воли и желания визитствующих сторон, знаю, как долго томят и терзают они своих незащитных жертв и, вдруг оборвавшись, оставляют их в тягостном и горьком недоумении.

Визиты — это нечто метафизическое.

Вот я вам расскажу маленькую визитную историю, приключившуюся недавно со мною, по виду такую простую и обычную, но всю от первого до последнего слова проникнутую тихим ужасом.

Дело было вот как.

В одном знакомом доме встретила я с очень милой дамой — Анной Петровной Козиной.

Она была очень любезна и приветлива, поговорила со мной немножко и, уходя, сказала:

— Какая вы чудная! Как бы я хотела познакомиться с вами поближе!

На это я ответила:

— Ах, да что вы! Напротив того, вы чудная, а вовсе не я, и я буду страшно рада, если вы когда-нибудь заглянете ко мне.

Она ласково улыбалась, и обе мы понимали, что она не придет.

Но вот недели через две встречаю ее на улице. Боясь, что она спросит меня, «как я поживаю», чего я смертельно боюсь, так как ни разу в жизни не сумела на этот вопрос ничего ответить, кроме «мерси», что довольно глупо, я сама первая затараторила:

— А! Анна Петровна! Ай-ай-ай! Как не стыдно? Вот вы и не зашли ко мне! А я вам поверила и ждала вас. И так мне хотелось, чтобы вы пришли! Разве вы этого не чувствовали?

Вероятно, я перехватила немножко, потому что она как будто удивилась и тотчас деловито спросила, когда меня удобнее застать.

Я назвала день и час, когда бываю дома, и мы расстались, обе какие-то подавленные.

Она пришла ко мне. Посидела несколько минут и ушла, и я видела, как она была рада, что наконец отделалась от моего назойливого зазыванья.

Прошло несколько дней, и обязанность отдать Анне Петровне ее «милый визит» стала ощущаться мною все с большей остротой. Прошла неделя. Две. Началась третья.

Откладывать дольше было нельзя. За что обижать милую, кроткую женщину?

Я отдала визит и, уходя, умоляла ее не забывать меня и заходить запросто.

Потом были мои именины, и она должна была прийти поздравить меня. Пришла не вовремя, помешала интересному разговору, который потом так никогда и не наладился, позвала к себе вечером.

Пришлось пойти. Тоска у нее была такая, что я в первый раз пожалела, что нет у нас порядочного клуба самоубийц.

— Мерси, Анна Петровна! — целовала я ее на прощанье. — Как вы умеете все мило устроить. Да, я страшно веселилась.

Я говорила, а душа моя билась в конвульсиях и громко выла:

«Подлая! За что ты загрызла меня!»

Так как я была у нее вечером, то пришлось и ее позвать вечером. Как аукнется, так и откликнется.

Она пришла! Ну что я могла сделать! Не убить же ее, в самом деле! Ведь она пришла, чтобы не обидеть меня!

Потом были ее именины. Потом, конечно, я опять «откликнулась».

Как-то утром она позвонила ко мне по телефону и сказала, что, вероятно, не сможет прийти вечером, так как кашляет.

Я, забыв всякий стыд и совесть, вопила в трубку:

— Поберегите себя! Не выходите из дому! Сегодня страшный холод. Ну к чему рисковать? Я прямо рассержусь, если вы придете! Не смейте выходить.

Она не пришла. Я была рада, но вместе с тем боялась, не вышло ли неловко, что я так умоляла ее не приходите. Пришлось, во всяком случае, навестить больную.

Она оказалась здоровой как бык и даже притвориться не сумела, что кашляет.

— Милая, — говорила она. — Вы такая чудная! Вы навестили меня на одре болезни. Я не забуду этого.

Вдруг отчаянная решимость зажгла ее глаза, и с выражением лица укротителя, всовывающего голову в львиную пасть, она прибавила:

— Знаете что? Я завтра же приду к вам пообедать...

Мы обе испугались и некоторое время молча смотрели друг на друга.

Наконец я захлебнулась от восторга:

— Какая вы славная!

Я чувствовала, что на глазах у меня слезы, но я была в таком отчаянии, что даже и скрывать их не хотела. Пусть думает, что я зевнула.

Все утро следующего дня я была сама не своя. Я твердо решила вывести наше темное дело на чистую воду. Вот придет Анна Петровна, а я возьму ее за руку и скажу, глядя ей прямо в глаза:

— Милая! Разве вы не понимаете, что судьба издевается над нами? Разве вы не чувствуете, что черт продернул в наши носы по веревочке и тянет нас друг к другу с визитами себе на потеху, нам на гибель? За что? Что мы сделали худого? Зачем я должна по четвергам бросать нужное и интересное дело, и тащиться к вам на Захарьевскую, и мучить вас, отрывая от друзей и близких в продолжение двадцати минут?

Скажем друг другу «довольно» и будем свободны и счастливы.

Но я не решилась! Когда я увидела ее, я сказала:

— Славная!

Да она и действительно очень хорошая женщина.

И вот в следующий четверг еду к ней.

Как быть?

ДУРАКИ

На первый взгляд кажется, будто все понимают, что такое дурак, и почему дурак чем дурее, тем круглее.

Однако если прислушаешься и приглядишься — поймешь, как часто люди ошибаются, принимая за дурака самого обыкновенного глупого или бестолкового человека.

— Вот дурак, — говорят люди. — Вечно у него пустяки в голове!

Они думают, что у дурака бывают когда-нибудь пустяки в голове!

В том-то и дело, что настоящий круглый дурак распознается прежде всего по своей величайшей и непоколебимейшей серьезности. Самый умный человек может быть ветреным и поступать необдуманно, — дурак постоянно все обсуждает; обсудив, поступает соответственно и, поступив, знает, почему он сделал именно так, а не иначе.

Если вы сочтете дураком человека, поступающего безрассудно, вы сделаете такую ошибку, за которую вам потом всю жизнь будет совестно.

Дурак всегда рассуждает.

Простой человек, умный или глупый — безразлично, скажет:

— Погода сегодня скверная, ну да все равно, пойду погуляю.

А дурак рассудит:

— Погода скверная, но я пойду погулять. А почему я пойду? А потому, что дома сидеть весь день вредно. А почему вредно? А просто потому, что вредно.

Дурак не выносит никаких шероховатостей мысли, никаких невыясненных вопросов, никаких нерешенных проблем. Он давно уже все решил, понял и все знает. Он — человек рассудительный и в каждом вопросе сведет концы с концами и каждую мысль закруглит.

При встрече с настоящим дураком человека охватывает какое-то мистическое отчаяние. Потому что дурак — это зародыш конца мира. Человечество ищет, ставит вопросы, идет вперед, и это во всем: и в науке, и в искусстве, и в жизни, а дурак и вопроса-то никакого не видит.

— Что такое? Какие там вопросы?

Сам он давно уже на все ответил и закруглился.

В рассуждениях и закруглениях дураку служат опорой три аксиомы и один постулат.

Аксиомы:

- 1). Здоровье дороже всего.
- 2). Были бы деньги.
- 3). С какой стати.

Постулат:

Так уж надо.

Где не помогают первые, там всегда вывезет последний.

Дураки обыкновенно хорошо устраиваются в жизни. От постоянного рассуждения лицо у них приобретает с годами глубокое и вдумчивое выражение. Они любят отпустить большую бороду, работают усердно, пишат красивым почерком.

— Солидный человек. Не вертопрах, — говорят о дураке. — Только что-то в нем такое... Слишком серьезен, что ли?

Убедясь на практике, что вся мудрость земли им постигнута, дурак принимает на себя хлопотливую и неблагодарную обязанность — учить других. Никто так много и усердно не советует, как дурак. И это от всей души, потому что, приходя в соприкосновение с людьми, он все время находится в состоянии тяжелого недоумения.

— Чего они все путают, мечутся, суетятся, когда все так ясно и кругло? Видно, не понимают, нужно им объяснить.

— Что такое? О чем вы горюете? Жена застрелилась? Ну так это же очень глупо с ее стороны. Если бы пуля, не дай бог, попала ей в глаз, она бы могла повредить себе зрение. Боже упаси! Здоровье дороже всего!

— Ваш брат помешался от несчастной любви? Он меня прямо удивляет. Я бы ни за что не помешался. С какой стати? Были бы деньги!

Один лично мне знакомый дурак, самой совершенной, будто по циркулю выведенной круглой формы, специализировался исключительно в вопросах семейной жизни.

— Каждый человек должен жениться. А почему? А потому, что нужно оставить после себя потомство. А почему нужно потомство? А так уж нужно. И все должны жениться на немках.

— Почему же на немках? — спрашивали у него.

— Да так уж нужно.

— Да ведь этак, пожалуй, и немок на всех не хватит.

Тогда дурак обижался:

— Конечно, все можно обратить в смешную сторону.

Дурак этот жил постоянно в Петербурге, и жена его решила отдать своих дочек в один из петербургских институтов.

Дурак воспротивился:

— Гораздо лучше отдать их в Москву. А почему? А потому, что их там очень удобно будет навещать. Сел вечером в вагон, поехал, утром приехал и навестил. А в Петербурге когда еще соберешься!

В обществе дураки — народ удобный. Они знают, что барышням нужно делать комплименты, хозяйке нужно сказать: «А вы все хлопчете», и, кроме того, никаких неожиданностей дурак вам не преподнесет.

— Я люблю Шаляпина, — ведет дурак светский разговор. — А почему? А потому, что он хорошо поет. А почему хорошо поет? Потому, что у него талант. А почему у него талант? Просто потому, что он талантлив.

Все так кругло, хорошо, удобно. Ни сучка ни задоринки. Подхлестнешь, и покатится.

Дураки часто делают карьеру, и врагов у них нет. Они признаются всеми за дельных и серьезных людей.

Иногда дурак и веселится. Но, конечно, в положенное время и в надлежащем месте. Где-нибудь на именинах.

Веселье его заключается в том, что он деловито расскажет какой-нибудь анекдот и тут же объяснит, почему это смешно.

Но он не любит веселиться. Это его роняет в собственных глазах.

Все поведение дурака, как и его наружность, так степенно, серьезно и представительно, что его всюду принимают с почетом. Его охотно выбирают в председатели разных обществ, в представители каких-нибудь интересов. Потому, что дурак приличен. Вся душа дурака словно облизана широким коровьим языком. Кругло, гладко. Нигде не зацепит.

Дурак глубоко презирает то, чего не знает. Искренне презирает.

— Это чьи стихи сейчас читали?

— Бальмонта.

— Бальмонта? Не знаю. Не слышал такого. Вот Лермонтова читал. А Бальмонта никакого не знаю.

Чувствуется, что виноват Бальмонт, что дурак его не знает.

— Ницше? Не знаю. Я Ницше не читал!

И опять таким тоном, что делается стыдно за Ницше.

Большинство дураков читают мало. Но есть особая разновидность, которая всю жизнь учится. Это — дураки набитые.

Название это, впрочем, очень неправильное, потому что в дураке, сколько он себя ни набивает, мало что удерживается. Все, что он всасывает глазами, вываливается у него из затылка.

Дураки любят считать себя большими оригиналами и говорят:

— По-моему, музыка иногда очень приятна. Я вообще большой чудак!

Чем культурнее страна, чем спокойнее и обеспеченнее жизнь нации, тем круглее и совершеннее форма ее дураков.

И часто надолго остается нерушим круг, сомкнутый дураком в философии, или в математике, или в политике, или в искусстве. Пока не почувствует кто-нибудь:

— О, как жутко! О, как кругла стала жизнь!

И прорвет круг.

КАК Я ПИСАЛА РОМАН

Для этого я выбрала первую неделю Великого поста. Время тихое, покаянное и, главное, свободное, так как, кроме четырех капустников у четырех актрис, ничего обязательного не предвиделось.

Мысль писать роман появилась у меня давно, лет пять тому назад. Да, собственно говоря, и не у меня, а у одной визитиствующей дамы.

Она долго сидела у меня, долго говорила неприятные вещи на самые разнообразные темы, и когда иссякла, ушла и, уходя, спросила:

— Очего вы не пишете романа?

Я ничего не ответила, но в тот же вечер села за работу и написала:

«Вера сидела у окна».

Лиха беда начало. Потом с чувством исполненного долга я разделась и легла спать.

С тех пор прошло пять лет, во время которых мне было некогда. И вот наконец теперь, на первой неделе Великого поста, я решила приняться за дело.

Начало моего романа мне положительно не понравилось.

За эти пять лет я стала опычнее в литературном отношении и сразу поняла, что сажать Веру у окна мне окончательно невыгодно.

Раз Вера сидит у окна — это значит изволь описывать либо сельский пейзаж, либо «петербургское небо, серое, как солдатское сукно». Без этого не обойдется, потому что как ни верти, а ведь смотрит же она на что-нибудь!

Опыт мой подсказал мне, что гораздо спокойнее будет, если я пересажу Веру куда-нибудь подальше от окна — и пейзажа не надо, и в спину ей не надует.

Хорошо. Теперь куда ее посадить?

На диван? Но ведь я еще не знаю, богатая она женщина или бедная, есть у нее кой-какая мебелишка или она живет в мансарде и служит моделью влюбленному в нее художнику.

Тот, кто ни разу не писал романа, наверное, хорошо меня понимает.

Рассказик дело другое. Нет на свете человека, который не сумел бы написать рассказика. Там все просто, ясно и коротко.

Например, если вы хотите в рассказике сказать, что человек испугался, вы прямо и пишете:

«Петр Иваныч испугался».

Или если рассказик ведется в очень легких тонах, то:

«Петр Иваныч перетрусил».

Если же рассказик юмористический, то можете даже написать:

«Петр Иваныч чувствовал, как душа его медленно, но верно опускается в пятки. Сначала в правую, потом в левую. Опустилась и засела там прочно».

В романе этого нельзя. В романе должен быть размах, мазок, амплитуда в восемьдесят градусов. Страх в романе нужно изобразить тонко, все-

сторонне, разобрать его психологически, физиологически, с историческим отбегом, не говоря уже о стилистических деталях, характеризующих именно эту функцию души, а не какую-либо другую.

Уфф!

Теперь еще очень важная подробность. Нужно твердо знать, какой именно роман вы пишете: бульварный (печатается в маленькой газетке, по пятаку строка), или бытовой в старых тонах (печатается в журналах, по восемь копеек, а если очень попросить, то и по гривеннику строка), или же, наконец, вы хотите, чтобы ваш роман был написан в прошлогоднем стиле нуво (печатается даром или за небольшую приплату со стороны автора).

Если вам нужно в бульварном романе сказать, что Петр Иваныч испугался, то изображаете вы это в следующих словах:

«Граф Пьетро остолбенел от ужаса. Его роскошные волосы встали дыбом, и бархатный плащ, сорвавшись с плеч, упал к его трепещущим ногам, описывая в воздухе роковые зигзаги. Но графы Щукедилья никогда не терялись в минуты смертельной опасности, и Пьетро, вспомнив галерею своих предков, овладел собой, и презрительная усмешка искривила его гордый рот и подбородок...»

Бытовик должен рассказать о Петре Иваныче и его испуге иначе:

«— Ну, брат, стало быть, теперича тебе крышка! — подумал Петруха, и разом весь вспотел. В одну минуту пролетела в его мозгах вся прошедшая жизнь. Вспомнилось, как старый Вавилыч дал ему здорового тычка за то, что слямзил он у Микешки портянку, вспомнилось еще, как он с тем же Микешкой намял Пахомычу загривок.

— Ах чтоб те! — неожиданно для себя самого вскрикнул Петруха и затих».

Стиль нуво требует совсем другого приема и других слов.

Боже упаси перепутать!

«Это было, конечно, в конце восемнадцатого столетия... Пьер вдруг почувствовал, как странно и скользко запахло миндалем у него под ложечкой и томно засосало в затылке, как будто нежная рука преждевременно состарившейся женщины размывно перебирала ему волосы, и от этого хотелось есть и петь одной и той же нотой и одним и тем же словом старинный романс:

Придет пора, твой май отзеленеет,

Угаснет блеск агатовых очей.

А на левой ноге чувствовался не сапог, а пуговица, одна и голубая.

И это был страх».

Видите, как все это сложно!

Но вернемся к Вере.

Может быть, можно посадить ее просто на стул?

«Вера сидела на стуле».

Как-то глупо выходит. Да, в сущности, и не все ли равно, на чем она сидела? Главное в том, что она сидела, а как именно — это, по-моему, уж дело ее совести.

Ну-с, итак, значит, Вера сидит.

А дальше что?

Я, собственно говоря, придумала, что в первой главе должна приехать к Вере в гости бывшая институтская подруга, в которую потом влюбится Верин муж, молодой помещик, и так далее, вроде «Снега» Пшибышевского.

Хорошо было бы приступить к роману с философским разгоном.

Вера сидит, а подруга едет.

Ты, мол, расселась, а беда не сидит, а едет.

Что-нибудь в этом роде, чтобы чувствовались ужас и безвыходность положения.

Но, с другой стороны, невыгодно сразу открывать читателю все карты. Догадается, в чем дело, еще и читать не станет.

Теперь как же быть?

Опять все-таки в рассказике все это совсем просто. А в романе, раз вы написали, что Вера сидит, то уж одним этим вы влезли в довольно скверную историю. В особенности если вы собрались писать роман натуралистический.

Вы немедленно должны обосновать исторически, вернее — генеалогически. Должны написать, что еще прадед ее, старый Аникита Ильич Густомыслов, любил посиживать и что ту же черту унаследовал и дед ее Иван Аникитич.

А если стиль нуво, тогда еще хуже. Тогда нужно написать так:

«Вера сидела, и от этого ей казалось, что она едет по сизому бурелому, и вдали узывно вабит свирелью, и от этого хотелось есть ежевику и говорить по-французски с легким норвежским акцентом...»

Когда прошла первая неделя Великого поста, я просмотрела свою рукопись.

На чистом листе бумаги большого формата было написано:

«Вера сидела».

За пять лет я подвинулась на одно слово назад!

Если так пойдет, то через десять лет от моего романа, пожалуй, ровно ничего не останется!

Пока что положу его в стол. Пусть хорошенько вылежится.
Это, говорят, помогает.
Эх, Вера, Вера! И зачем ты села?

ИХ ДЕТИ

Яркий весенний день. Зеркальный асфальт Берлина звонко отвечает ударами каблучков. Эта узенькая улочка, куда выходит окно моей комнаты, похожа на коридор другого отеля, так она чиста и нарядна и украшена цветами.

Как раз против меня городская школа.
Скоро начнутся уроки.

То в одном, то в другом окне, обрамленном вьющимися бархатно-оранжевыми цветами, показывается фигура учительницы — рослой белокурой девушки, совсем еще молодой. Руки у нее, как лапы у породистого щенка, слишком велики по ее росту. Волосы туго свернуты на затылке, юбка прикрыта полосатым передником.

Учительница вытирает пыль с подоконников и поет тонким носовым сопрано популярную сентиментальную песенку:

Das war im Schöneberg
Im Monat Mai.

Поет наивно-убедительно, сама вся розовая, вся свежая и чистая.
А внизу уже собираются дети.

Раньше определенного часа они войти в школу не смеют. Опоздать тоже боятся и поэтому ждут у подъезда.

Плотные румяные мальчишки рассказывают друг другу что-то деловое, серьезное.

Вероятно, о том, как кто-то кого-то бил, потому что выражение лица у них вызывающее, и сжатый кулак то угрожающе трясется в воздухе, то подъезжает под самый нос собеседника.

Девочки чинно стоят или прогуливаются под ручку мимо подъезда. Две или три тут же вяжут крючком толстые уродливые кружева — свое будущее приданое.

«Das war im Schöneberg», — звенит из бархатно-оранжевых цветов голосок учительницы.

Девочки покачивают в такт гладко расчесанными головками. Придет их время, и они тоже запоют о том, как сладко целоваться в веселом Шонеберге в зеленый месяц май.

Вдоль улицы, прижимаясь к стенам, медленно ковыляет маленькая темная фигурка. На спине ранец, такой же, как и у всех школьников, но он кажется огромным, он торчит далеко от затылка, потому что мальчик, несущий его, — горбун. Медленно ковыляет маленький калека, подпирая костылем высокое острое правое плечо. Подходя к школе, он движется все медленнее.

Ему трудно, или просто устал, но, кроме того, он как будто боится чего-то. Он так жмет к стене, и, на минуту укрывшись за водосточной трубой, вытягивает шею, и смотрит на группу детей у подъезда.

Потом вдруг, точно выбрав момент, быстро, насколько позволяет костыль, перебегает через улицу и, притаившись за большим фургонном с мебелью, долго тяжело дышит. Потом, снова вытягивая шею, смотрит на детей и снова прячется. Может быть, он играет и хочет, чтобы дети искали его?

Но он стоит тихо, — так тихо, что потрясающие кулаками деловитые румяные мальчики и озабоченные будущим приданым девочки, по-видимому, и не подозревают о его присутствии.

Но вот смолкает песня о Шонеберге и поцелуях. Звенит острый, тонкий колокольчик, и дети, подталкивая друг друга, быстро выходят в подъезд. Маленький калека, вытянув шею, наблюдает за ними.

Когда закрылась дверь за последним румяным мальчиком, горбун выждал минутку и вдруг решительно заковылял прямо к школе. Он с трудом протиснулся в тяжелую дверь, весь кривой, маленький и испуганный.

В продолжение двух часов с небольшим перерывом из окошек, цветущих бархатистыми цветами, доносился громкий повелительный голос учительницы.

Голос этот резкий, злой, невыносимый. Голос этот не пел никогда о сладких поцелуях мая, он ничего не мог о их знать, — это мне, верно, послышалось. И снова зазвенел острый колокольчик, и толпа детей распахнула двери подъезда.

Маленького калеки не было с ними. Он вышел, когда они были уже в конце улицы, и снова спрятался за фургон с мебелью.

Но ему не повезло. Одна из чистеньких девочек, обернувшись, заметила его маневр. Она засмеялась, захолопала в ладоши и закричала что-то.

Ну конечно, моя первая догадка была верной. Конечно, это — игра, веселая детская игра.

Дети бегут, смеются.

Но какой странный маленький горбун. Он весь притих, он втянул голову в плечи и так странно дрожит. Неужели он плачет?

Дети подбегают к фургону.

Впереди всех та девочка, которая первая заметила его. Она визжит, кричит какое-то слово, которое я не могу разобрать, и громко смеется. Она, должно быть, самая веселая, эта белобрысая девочка. И потом, она первая заметила, как прячется их маленький товарищ, и, должно быть, чувствует себя царицей этой забавной игры.

Они все бегут, и все визжат, и все повторяют то же слово.

И вдруг горбун громко заплакал и побежал, — побежал большими прыжками, упираясь всеми силами на свой костыль. Он на ходу поворачивал к детям свое жалкое лицо с распяленными бледными губами и все плакал громко, привычным и им, и ему плачем.

— Урод! Урод! — смеялись дети.

Теперь я отчетливо расслышала это слово:

— Урод!

А маленькая девочка, царица игры, быстро скрутила какой-то комочек — может быть, из тряпок, может быть, из камешков — и бросила его вслед горбуну.

Девочка была ловкая — комочек щелкнул горбуна прямо по короткой ноге.

— Урод! Урод!

Из цветущего окошка высунулась голова учительницы.

Усмехнулось розовое лицо. Но она погрозила пальцем и сказала резко и определенно:

— Ruhig! Тише! На улице нужно вести себя прилично.

Дети притихли, зашептались и, с трудом гася вспыхнувшее веселье, стали чинно расходиться.

Горбун скрылся за углом.

В цветущем бархатно-оранжевом окошке долго улыбалось полное розовое лицо, спокойное, довольное, и тонкий носовой голосок сантиментально и искренно звенел о радости весенних поцелуев.

ВАНЯ ЩЕГОЛЕК

Г. Е. Жукову

Врач был опытный. Осмотрев раненого № 67, сказал:

— Отделить и понаблюдать.

Я тоже стала опытная и поняла: «отделить и понаблюдать» значило, что номеру шестьдесят седьмому капут.

— До утра доживет?

Доктор поморщился, двинул губами вбок, приподнял глаза и ничего не сказал. Это значило: может быть, но вернее, что нет.

Мое дежурство кончится в двенадцать ночи. Передам ли я его живым, этот номер шестьдесят седьмой?

Его перенесли в уголок около двери — иначе отделить невозможно при нашей тесноте.

Он был очень молодой, какой-то весь яркий и горящий.

— Чего они на меня все морщатся? — сердито спросил он. — Дума-ют — я помру? Ничего я не помру. Так и скажи им, что не помру. Выдумали тоже. Некогда мне.

— Что тебе некогда?

— Помирать некогда. Я домой поеду. Пускай смерть за мной всугонь бежит. Я от ей утекну. Я ни за что не помру. Некогда мне. Хочу домой. Дома красиво. Я и сам баской.

Он повернулся, чтобы я видела его лицо. Действительно, красив был. Смуглый, быстроглазый, с сросшимися союзными бровями — будто черная птица раскинула крылья.

Показал он лицо свое так просто, словно не его оно, а какая-нибудь посторонняя красивая вещь, что досталась ему случайно, он и радуется.

— Вот смотри.

Ну что тут скажешь?

— Лежи тихо, не вертись. А то больно будет.

— Домой хочу. Все красиво будет. Ничего дрянного не хочу. Прочь его. Раскидаю направо, налево.

Он вдруг раздвинул брови, полуоткрыл рот, словно улыбнулся.

— А видала ты, сестрица, как лебеди пьют?! Дикие лебеди. У нас в Сибири много. Не видала? Нужно с подветру тихо подойти, камыш не рущить — ти-ихо. Он ведь не человек, он гордый, близко не подпустит. Тихонько смотри. А он грудью на воду ляжет, а той воды, что все видят, да все знают, пить не станет. Он ударит клювом вправо, влево, разметет брызгами, разобьет гладь — гей! — да в самую сердцевину, в нетронутую, в невиданную, в незнанную, голову окунет. А ты смотри, не дыхни. Он — не человек, он гордый, он не подпустит. Ты видала? Я видал. А ты говоришь — помирать!

— Что ты, голубчик! Я не говорила. Бог даст, поправишься.

— Пушная смерть всугонь бежит — утекну. Я, Ваня Щеголек, первый бегун, первый игрунок. Мне некогда, мне еще надо на полянку ходить, ведмедя смотреть. Луна светит, томно ему. Лежит на спине, брюхо мохнато, лапы задрал, гнилую корягу цапает. Бренькает гнилье, щепится — брррынь. А ведмедь цапнет да слушает и урлит — уррр... Поет, — ддра-

вится. А зимой в мерлог тихо у него. Тепло. Лапу сосет и сны снят. Снит, быдто лапу-то в мед запустил. Сосет. Сладко. А пчелы кругом так и звенят, так и гудят, заливаются. Шевельнулся, проснулся — ан и не пчелы, а собаки, псы чловецьи над мерлогой брешут, лают, заливаются. Страх в живот подступил. Вскочил — и нет ничего. И все сам наснил. Обидится, уляжется, опять лапу засосет; ведмежий покой до весны сладок. А весной вылезет — худой, шесть мотаается, шукура-бура болтаается — смехота. А ты говоришь — помирать.

— Помолчи-ка ты лучше, усни.

— Не хочу спать. Некогда мне. Я домой хочу. Лесных-то людей небось не видала? А я увижу. Наши-то видали. В тайгу надо подальше, да поглыбже, низком, ползком по подкормю, топориком врубаться, векшей продираяться, гадючкой прошныривать. А там полянка, а на полянке они и бьвают. Сидят, лапти плетут. Как выскочишь на них, сразу гони, пугай, не давай им друг к дружке прицепиться, потому лесной человек кажный об одной ноге. У одного правая, у другого левая. Обнимутся вместе и побегут. И загубить могут христианскую душу. А как не дать им друг до дружки добежать да спариться, тут они на одной ножке прыг, скок да и свалятся. Тогда бери голой рукой, поясом вяжи, домой тащи, а он те и сказки, и песни, и было — не было, все. А ты говоришь — помирать. Мне нельзя помирать, мне некогда. Я Ваня Щеголек, первый бегун, первый игрунок. Пуцай она за мной всугонь бежит. Я утекну. Плечи у меня широкие, ноги крепкие и сам я баской. Ни за что не помру.

В полночь сменили меня. А утром я снова пришла в лазарет.

Спрашивать не хотелось. Пошла прямо к тому месту, к углу около двери.

Кровать стояла белая, тихая, ровная, застланная чистой, гладкой простыней.

Ровно, гладко... Нету Вани Щеголька.

Кончено.

«...Знаешь ты, как лебеди пьют? Дикие лебеди? Воду нетронутую, невиданную, незнанную?..»

Знаю.

КОШМАР

Кошмар продолжался четыре года.

Четыре года несчастная Вера Сергеевна не знала покоя ни днем ни ночью. Дни и ночи думала она о том, что счастье ее висит на волоске, что

не сегодня-завтра эта наглая девка Элиза Герц отберет от нее окончательно околдованного Николая Андреевича.

Эта несчастная Вера Сергеевна боролась за свое сердце и за свой очаг всеми средствами, какие только может дать современность в руки рассудительной и энергичной женщины. Она писала сама себе анонимные письма, которые потом с негодованием показывала своему преступному мужу. Она постоянно твердила ему о необычайном уме их гениального мальчика и подчеркивала, как важны для воспитания такого избранного существа твердые семейные устои. Она создавала домашний комфорт и уют, устраивала интересные вечера, на которые созывала выдающихся людей. Она занималась своей внешностью, делала гимнастику, массировалась, старательно выбирала туалеты, делала все, что могла, чтобы быть в глазах мужа молодой, умной и красивой. Никогда, даже в первые годы супружеской жизни, не была она так в него влюблена, как в эти несчастные четыре года «кошмара».

И действительно, если Николай Андреевич мог кому-нибудь нравиться, так именно в эти четыре года. Он сделался элегантным, каким-то подвинченным, загадочным, то бурно веселым, то непредвиденно меланхоличным, декламировал стихи, делал жене подарки и даже отпускал ей комплименты, положим, большею частью, когда торопился уйти из дому и боялся, что его задержат.

— Милочка, как ты интересна сегодня, — рассеянно бормотал он, целуя ее в лоб, — носи всегда это платье.

Или:

— У тебя сегодня прием? Я безумно жалею, что не смогу прийти. Но я пришлю тебе корзину цветов. Пусть все видят, что я еще влюблен в свою кошечку.

От него всегда пахло волнующими духами, хотя он не душился. Он всегда что-то напевал, он приносил с собой какой-то воздух влюбленности, от которого все начинали беспокойно улыбаться, лукаво поглядывать и говорить на любовные темы.

Раз в год Элиза Герц давала свой концерт. Вера Сергеевна заказывала к этому вечеру великолепный туалет, собирала друзей к обеду и потом приглашала их к себе в ложу. Николай Андреевич сидел отдельно в партере, и она следила в бинокль за выражением его лица.

Николай Андреевич был действительно околдован Элизой Герц. Его спокойная, расчетливая купеческая натура не сливалась с чуждой для него средой Элизы, но как бы плавала в ней, ныряла и фыркала от удовольствия. Его удивлял и умилял весь этот элегантный сброд, эти выложенные денди с бурчащими от голода животами, эти томные модницы с

наклеенными ресницами, у которых всегда оказывались вещи задержанными в отеле за неплатеж. Эти завтраки в пять часов вечера, обеды в час ночи, неожиданные танцы, вся сложность и запутанность взаимоотношений этих странных и очаровательных людей. И самая странная и самая очаровательная из них — она, непонятная, до конца не узнанная, мучающая и себя и других, талантливая, яркая, бог, черт, змея — Элиза Герц.

За все четыре года ни одного дня не был он спокоен и уверен за завтрашний день. Он никогда в ней ничего не понимал.

Однажды она вернула ему посланный ей дорогой браслет, набросав карандашом на клочке бумаги: «Не ожидала подобного хамства. Мне стыдно за вас». И он, растерянный и униженный, два дня не смел показаться ей на глаза и ломал себе голову — почему она так оскорбилась, когда всего три дня тому назад он дал ей двадцать тысяч и она совершенно спокойно сунула их в свою сумочку и даже зевнула при этом.

В другой раз, получив от него корзинку апельсинов, она стала перед ним на колени и сказала, что в этом его поступке было столько девственной красоты, что она все утро проплакала слезами восторга, а из апельсинов велела сварить компот.

И никогда не знал он, что его ждет. И часто, оскорбленный и униженный, возвращался он домой и искал утешения в преданности Веры Сергеевны.

— Веруся, ты ангел, а я свинья, — говорил он. — Но ведь и свинья может требовать доли уважения и ласки. Обними меня, скажи, — ведь наш Володя замечательный мальчик? Я хочу жить для тебя и для него. Только. Заметь — только!

Иногда он забегал домой всего на минутку, метеором, метеором, который сверкал радостью и напевал на мотив из оперетки:

— До свиданья, Веруся. Живу тобой. Не задерживай — меня ждут скучные дела. Тра-ла-ла! Скучные, тра-ла-ла! Дела-ла-ла!

И удирал.

Кончился кошмар совершенно неожиданно...

Элиза давно толковала об ангажементе в Аргентину. Николай Андреевич привык к этим разговорам и не придавал им особого значения. Иногда ему приходилось даже подписывать чеки для каких-то посредников, но ему часто приходилось выдавать деньги на самые непонятные нужды — на какую-то рекламу (чего — неизвестно), на погашение долга по концерту, который, полагалось, должен был дать доход, и т. д. Так что он особого значения этим посредникам не придавал. И вдруг оказалось, что аргентинская гастроль вовсе не мираж, а самый настоящий факт и что нужно только выхлопотать паспорт и сейчас же отправляться. Разлука предлагалась на полгода и особенно Николая Андреевича не взволновала.

«Отдохну, отосплюсь и поправлю делишки», — бодрил он себя.

Ездили провожать целой компанией в Марсель. Было шумно, угарно и даже весело.

Долгое время Николай Андреевич не мог оторваться от Элизиной жизни. Ездил по ресторанам с ее подругой Милушей, чтобы говорить о ней, кое о чем выпытывать, кое-что проверять задним числом.

Потом Милуша надоела. Она была и глупа, и некрасива, и носила старые Элизины платья. И все, что говорила она о своей приятельнице, как-то опрощало Элизу, делало ее понятной, лишало тревоги и загадочности.

Он скоро бросил Милушу.

Потом пришло письмо от Элизы с просьбой о деньгах и рассказами о бурном успехе.

Он тотчас же послал требуемую сумму с восторгом.

Через пять месяцев пришло второе требование.

Он исполнил и его тоже, но уже без восторга.

От письма ее пахло какими-то новыми духами вроде ладана. Очень противными.

Стало скучно. Сразу сказалась усталость от бессонных ночей, кутежей и тревог последнего года. Потянуло спокойно пошлепать пасьянс, поворчать на жену и завалиться в десять часов в постель.

Вера Сергеевна отнеслась сначала с восторгом к счастливой перемене жизни. Потом ее стало беспокоить, что ветреный супруг, предоставлявший ей всегда полную свободу, вдруг так прочно засел дома и выразил столько негодования, когда она раза два, увлекшись бриджем, поздно вернулась. Она почувствовала некоторое неудобство и даже скуку от такого его поведения.

«Ну, это, должно быть, ненадолго, — утешала она себя. — Скоро вернется эта негодяйка, и все пойдет по-старому».

Но по-старому дело не пошло.

Николай Андреевич получил новое требование из Аргентины, на которое ехидно ответил телеграммой: «Получите при личном свидании», на что пришел ответ, тоже телеграфный, в одно слово, латинскими буквами, но чисто русское: «Мерзавец».

Вера Сергеевна, которая по праву невинной страдальницы часто рылась в письменном столе неверного своего мужа и для этой цели даже очень ловко приспособила в качестве отмычки крючок для застегивания башмаков, прочла эту телеграмму с двойным чувством — тоски и восторга.

Восторг пел: кончен кошмар.

Тоска ныла: что-то будет?

И тоска была права.

Очаровательный и нежный Николай Андреевич выскочил, всклокоченный, впрем из кабинета со счетами в руках и задал бедной страдалнице такую встрепку за платье от Шанель и шляпку от Деска, что она горько пожалела о тяжелых годах кошмара.

А тут новое несчастье: «гениальный мальчик» оказался болваном и грубияном. Он в третий раз провалился на первом башо¹, и, когда отец резонно назвал его идиотом, молодой отпрыск, выткнув хоботом верхнюю губу, отчетливо выговорил:

— Идиот? Очевидно, по закону наследственности.

И тут родители с ужасом заметили, что у него отвислые уши, низенький лоб и грязная шея и что вообще им гордиться нечем, а драть его уже поздно, и Вера Сергеевна упрекала мужа за то, что тот забросил ребенка, а муж упрекал ее за то, что она слишком с ним нянчилась. И все было скучно и скверно.

При таком настроении нечего было и думать о поддержании прежнего образа жизни. Уж какие там приемы изысканных гостей. Кроме всего прочего, Николай Андреевич стал придирчив и скуп. Вечно торчал дома и всюду совал нос. Дошло до того, что, когда Вера Сергеевна купила к обеду кусочек балыка, он при прислуге назвал ее шельмой — словом, как будто к данному случаю даже неподходящим, но тем не менее очень обидным и грубым.

Так все и пошло.

Пробовал было Николай Андреевич встряхнуться. Повез обедать молоденькую балерину. Но так было с ней скучно, что потом, когда она трезвонить к нему каждый день по телефону, он посылал саму Веру Сергеевну с просьбой осадить ее холодным тоном.

Вера Сергеевна перестала наряжаться и заниматься собой. Быстро распозлзлась и постарела.

Она часто горько задумывалась и вздыхала:

— Да! Еще так недавно была я женщиной, жила полной жизнью, любила, ревновала, искала забвения в вихре света.

— Как скучно стало в Париже, — говорила она. — Совсем не то на строение. Все какое-то погасшее, унылое.

— Это, верно, вследствие кризиса, — объяснили ей.

Она недоверчиво качала головой и как-то раз, бледнея и краснея, спросила полковника Ерошина — старого забулдыгу, приятеля Николая Андреевича:

¹ Экзамене (от фр. *bachot*).

— А скажите, вы не знаете, отчего не возвращается из Америки эта певичка Элиза Герц?

— А бог ее знает, — равнодушно отвечал полковник, — может быть, не на что.

— А вы не находите, что следовало бы послать ей денег на дорогу? — еще более волнуясь, сказала она. — Вы бы поговорили об этом с мужем. А?

ФАЙФОКЛОКИ

Рецепт приготовления файфоклока следующий:

- 1 кило миндального печенья;
- на пять франков кексу;
- на десять какой-нибудь дряни;
- 1 кило конфет;
- 1 лимон.

Все это режется и раскладывается по тарелкам в виде звезд или каких-нибудь геометрических фигур — ромбов, квадратов, концентрических кругов.

Делается это для того, чтобы с первого же момента поразить воображение гостя, чтобы он присмирел и понял, что попал не так себе куда-нибудь, а в дом, где любят красоту и ценят искусство. Красота — это, как известно, страшная сила, и уложенная винтом баба (я говорю, конечно, про печенье, а не про женщину) производит впечатление гораздо более яркое и острее, чем просто натяпанная кривыми ломтями. Можно еще купить орехов. Но к ним следует относиться как к элементу декоративному и щипцов не класть. От них, если дозволить их есть, только треск и сор. А так, без щипцов, если какой гость и надумает взять, то недалеко уедет: повертит в пальцах, лизнет и сунет потихоньку под пепельницу.

Если гость строптивый и задира, то надо дать понять, что вы его штуки заметили и не одобрили — берешь, мол, добро, есть не ешь, а только изводишь. От этого он делается скромнее и иногда даже начинает говорить комплименты.

Если вы натуральный беженец и живете в одной комнате, то для настоящего светского файфоклока вы непременно должны придать вашему помещению элегантный вид: выбросить из пепельницы присохшие к ней косточки от вишен, старые туфли засунуть подальше под кровать, а новые, наоборот, выставить около окошка — пусть сверкают. Умывальную чашку можно скрыть под небрежно развернутым японским веером.

Словом — иногда самыми маленькими усилиями можно достигнуть потрясающих эффектов.

Между прочим, если у вас есть стул с расхлябанной ножкой, не стыдитесь и не прячьте его. Он вам сослужит службу: если к вам придет очень важный гость, презирает ваш кекс и спросит, есть ли при вашей комнате *salle de bain*² — сажайте его немедленно на этот стул. Он потеряет равновесие, брыкнет ногой и попытается обратить все в шутку. А вы улыбнетесь «с большой выдержкой» и скажете:

— Ах, пустяки, не стоит обращать на это внимание. Здесь мебель хотя и дорогая, но очень прочная.

Тогда он подумает, что сам сломал ножку, и сильно сконфузится. Тут берите его голыми руками.

Разговоры за файфоклоками нужно вести на самые светские темы, а вовсе не о том, что вас лично в данный момент больше всего интересует.

Допустим, ваша душа занята тем, что утром сапожник содрал с вас пятнадцать франков за новую подметку. Как бы ни были вы полны этими переживаниями, говорить о них не следует, потому что все притворятся, что их такая мелочь никогда не интересовала, и даже не сразу поймут, кэс ке сэ, мол, подметка.

Говорите об опере, о туалетах. Только не надо говорить непременно правду.

— В оперу не хожу — денег нет.

Или:

— Сегодня утром смотрю — ах! — на новом чулке дырка!

Это не то. Надо держать высокий тон.

— Французы не понимают даже Чайковского, как вы хотите, чтобы они претворили (непреренно скажите «претворили», я на этом настаиваю) Скрыбина?

Или так:

— Пакэн повторяется!

И больше ничего. Пусть все лопнут.

Если разговор очень вялый, вы можете легко оживить его, бросив скользь:

— Видела вчера в церкви Анну Павловну. Какая красавица!

Тут-то и начнется.

— Анна Павловна красавица? Ну уж это, я вам скажу...

— Анна Павловна харя.

² Ванная (фр.).

- Она одевается недурно, но ведь она ужасна!
- Одетая она всегда возмутительно! Я даже не понимаю, где она заказывает эти ужасы. Ее выручает смазливое личико...
- Личико?! У нее муравьиный нос. Фигура только и выручает.
- Горбатая... Один бок...
- У нее три ноги...
- У нее скорее фигура смазливая, чем лицо.
- Характер у нее смазливый, а не фигура.
- Несчастный муж! Жена, кажется, продается направо и налево...
- Женщине шестой десяток, и вечно за ней хвост мальчишек.
- Очевидно, умная женщина. Раз ей шестьдесят лет, да еще и урод она, и одевается скверно, так за что же ей платят?
- Анна Павловна умна? Вот уж разодолжили! Дура петая-перепетая.
- А много ли им нужно! Была бы хорошенькая мордочка.
- Да одевалась бы хорошо.
- Так, значит, она хорошенькая?
- Совершенная цапля, только коротенькая... Кривая.
- Ну вот! А вы говорите, продается. Сама всем платит.
- Что же — значит, богатая?
- Ломаного гроша нет. Я ей сама старую шляпку подарила.
- Так как же тогда? Чем же она платит?
- Ах, какая вы наивная! Уж поверьте, что на это найдется.
- А на вид ей не более тридцати.
- Ах, какая вы наивная! Ей на вид все восемьдесят.
- Это разговор специально дамский.
- Для возбуждения мужских страстей вы скользь бросаете:
- Интересно мнение большинства. Следует нам вообще объединиться, разъединиться или отъединиться?

Тут пойдет.

В общем, эти разговоры, если их не сбивать, могут длиться часа три-четыре.

Но если вам захочется есть, то вы всегда можете мгновенно погасить энтузиазм толпы и элоквенцию ораторов простой фразой, произнесенной вполголоса:

— Ах, я и забыла! Меня просили продать тридцать билетов на благотворительную лотерею. И куда это я их засунула... надо поискать.

Ровно через полторы минуты ваша комната останется пустой.

Окурки, бумажки от конфет, сизый дым, огрызки печенья — унылые ключья былого файфоклока — унылые файфоклочья.

Последние крики на лестнице:

- Заходите!
- Позвоните!
- Шшш... не крие па сюр лескалье!³

«КЕ ФЕР?»

Рассказывали мне: вышел русский генерал-беженец на Плас де ла Конкорд, посмотрел по сторонам, глянул на небо, на площадь, на дома, на пеструю говорливую толпу, почесал переносицу и сказал с чувством:

— Все это, конечно, хорошо, господа. Очень даже все хорошо. А вот... ке фер? Фер-то ке?

Генерал — это присказка.

Сказка будет впереди.

* * *

Живем мы, так называемые лерюссы, самой странной, на другие жизни не похожей жизнью. Держимся вместе не взаимопритяжением, как, например, планетная система, а вопреки законам физическим — взаимоотталкиванием.

Каждый лерюсс ненавидит всех остальных столь же определенно, сколь все остальные ненавидят его.

Настроение это вызвало некоторые новообразования в русской речи. Так, например, вошла в обиход частица «вор», которую ставят перед именем каждого лерюсса.

— Вор-Акименко, вор-Петров, вор-Савельев.

Частица эта давно утратила свое первоначальное значение и носит характер не то французского *Le* для обозначения пола именуемого лица, не то испанской приставки «дон».

— Дон-Диего, дон-Хозе.

Слышатся разговоры:

— Вчера у вора Вельского собралось несколько человек. Были вор-Иванов, вор-Гусин, вор-Попов. Играли в бридж. Очень мило.

Деловые люди беседуют:

— Советую вам привлечь к нашему делу вора Парченку. Очень полезный человек.

— А он не того... не злоупотребляет доверием?

³ Не кричите на лестнице! (Фр.)

— Господь с вами! Вор-Парченко? Да это честнейшая личность! Кристальной души.

— А может быть, лучше пригласить вора-Кусаченко?

— Ну нет, этот гораздо вреее.

Свежеприезжего эта приставка первое время сильно удивляет, даже пугает.

— Почему вор? Кто решил? Кто доказал? Где украл?

И его больше пугает равнодушный ответ:

— А кто ж его знает — почему да где... Говорят, вор, ну и ладно.

— А вдруг это неправда?

— Ну вот еще! А почему бы ему и не быть вором?

И действительно — почему?

* * *

Соединенные взаимным отталкиванием лерюссы определенно разделяются на две категории — на продающих Россию и спасающих ее.

Продающие живут весело. Ездят по театрам, танцуют фокстроты, держат русских поваров, едят русские борщи и угощают ими спасающих Россию. Среди всех этих ерундовых занятий совсем не брезгают своим главным делом, а если вы захотите у них справиться, почему теперь и на каких условиях продается Россия, вряд ли смогут дать толковый ответ.

Другую картину представляют из себя спасающие. Они хлопочут день и ночь, бьются в тенетах политических интриг, куда-то ездят и разоблачают друг друга.

К «продающим» относятся добродушно и берут с них деньги на спасение России. Друг друга ненавидят белокаленной ненавистью.

— Слышали — вор-Овечкин какой оказался мерзавец! Тамбов продает.

— Да что вы! Кому?

— Как кому? Чилийцам.

— Что?

— Чилийцам — вот что.

— А на что чилийцам Тамбов дался?

— Что за вопрос! Нужен же им опорный пункт в России.

— Так ведь Тамбов-то не овечкинский, как же он его продает?

— Я же вам говорю, что он мерзавец. Они с вором Гавкиным еще и не такую штуку выкинули: можете себе представить — взяли да и переманили к себе нашу барышню с пишущей машинкой как раз в тот момент, когда мы должны были поддержать Усть-Сысольское правительство.

— А разве такое есть?

— Было. Положим, недолго. Один подполковник — не помню фамилии — объявил себя правительством. Продержался все-таки полтора дня. Если бы мы его поддержали вовремя, дело было бы выиграно. Но куда же сунешься без пишущей машинки. Вот и проворонили Россию. А все он — вор-Овечкин. А вор-Коробкин — слышали? Тоже хорошо! Уполномочил себя послом в Японии.

— А кто же его назначил?

— Никому неизвестно. Уверяет, будто было какое-то Тирасполь-Сортировочное правительство. Существовало оно минут пятнадцать — двадцать, так... по недоразумению. Потом само сконфузилось и прекратилось. Ну а Коробкин как раз тут как тут, за эти четверть часа успел все это обделать.

— Да кто же его признает?

— А не все ли равно. Ему, главное, нужно было визу получить — для этого он и уполномочился. Ужас!

— А слышали последние новости? Говорят, Бахмач взят!

— Кем?

— Неизвестно.

— А у кого?

— Тоже неизвестно. Ужас!

— Да откуда же вы это узнали?

— Из радио. Нас обслуживают три радио — советское «Соврадио», украинское «Украдио» и наше собственное первое европейское — «Переврадио».

— А Париж как к этому относится?

— Что Париж? Париж известно — как собака на сене. Ему что.

— Ну а скажите, кто-нибудь что-нибудь понимает?

— Вряд ли. Сами знаете — еще Тютчев сказал, что «умом Россию не понять», а так как другого органа для понимания в человеческом организме не находится, то и остается махнуть рукой. Один из здешних общественных деятелей начинал, говорят, животом понимать, да его уволили.

— Ндам...

— Ндам...

Посмотрел, значит, генерал по сторонам и сказал с чувством:

— Все это, господа, конечно, хорошо. Очень даже все это хорошо. А вот... ке фер? Фер-то ке?

Действительно — ке?

ТИХИЙ СПУТНИК

На днях ушел от меня маленький друг, тихий спутник последнего десятилетия моей жизни, следовавший за мной преданно и верно по всем этапам тяжелого беженского пути. Ушел так же загадочно, как и появился когда-то.

Где он? Почему бросил меня?

Может быть, он уже давно исчез, а я только теперь заметила. Я ведь никогда не обращала на него внимания, я только терпела его присутствие, это он сам следовал за мной. Маленький, корявый, неопределенного цвета, неопределенной формы — обломок цветного сургуча.

Первый раз заметила я его весной семнадцатого года. На моем большом нарядном письменном столе, сверкавшем ледяными кристаллами хрустального прибора, с левой стороны, между пепельницей и пресс-папье, спокойно и сознательно поместился этот закопченный, чужой и ненужный огрызок. Я удивилась, как он ко мне попал, хотела сейчас же выбросить, потом забыла, и он остался. Я, вероятно, просто не замечала его в рассеянности своей и, не замечая, привыкла, и вид его не раздражал и не привлекал моего внимания. Так он жил, и ничего в этом удивительного нет. Я не замечала, а он жил. Разве это редко в нашей жизни?

Прислуга, стирая пыль со стола, бережно укладывала его на то же место, верно думала, что он предмет нужный и важный, за который, пожалуй, и ответить придется.

Первый раз поняла я его преданность, когда, приехав из Петербурга в Москву на несколько дней по делам, открыла чемодан и увидела сразу, сверху, на саше с носовыми платками, очевидно втиснутый наспех в последнюю минуту, этот огрызок закоптелого сургуча. Я ничего не взяла с письменного стола и уж конечно не сама положила абсолютно мне не нужную ерунду. Сам он залез, что ли?

Я бросила его на отдельный столик и забыла.

Вернувшись в Петербург, разбирая чемодан, нашла его, испуганно забившегося в складку кожи. Куда я его выбросила — но, конечно, выбросила, — не заметила сама. Вечером он уже лежал на своем обычном месте. Я ли машинально положила или прислуга нашла и, помня, что это вещь нужная, водворила его на место. И я снова перестала его видеть — привычно не замечала.

Подожли страшные дни. Под окнами стоял грузовик с пулеметом; он трещал по ночам железным горохом, от которого дребезжали стекла и дрожали висюльки абажура мертвой лампы над моим столом. Электричества не давали. Холодным сталактитом в мутном уличном свете леденела

огромная граненая чернильница и длинная, никогда не нужная, любимая только за красоту хрустальная линейка и тяжелое, как надгробный памятник, пресс-папье, погребавшее мелкие квитанции навек так, что их и найти нельзя было. Они не двигались, эти тяжелые камни, но дребезжащий, дрожащий абажур выдавал настроение всего стола: ему было страшно.

Загрохотали ворота — в них били прикладами. И на столе зазвенело что-то: это стеклянная марочница, тонкая и нервная, упала в обморок и скатилась со стола. И, ставя ее впопыхах на прежнее место, руки мои нащупали маленький, гладкий, непонятный кусочек. Я осторожно, спрятавшись за дверь, чтобы не было видно с улицы, зажгла спичку и посмотрела: это был мой обломок сургуча. Я бросила его около печки. Утром он лежал с левой стороны стола.

Черные, сонные дни, белые, бессонные ночи. Уходили, пропадали люди. Уходили и не возвращались вещи. И те и другие не заменялись, и обнажалась жизнь, голая и безобразная.

С письменного стола первой ушла чернильница. Как Соня Мармеладова, завернувшись в драдемамовый платок, пошла на базар и проданась для поддержания существования близких: лампы, линейки, марочницы и меня.

Потом ушли и другие. Осталось пустое сукно с начертанными пылью воспоминаниями о том, что когда-то здесь было. Ис с левой стороны стола один, только один маленький обломок. Он. Сургуч.

Я уехала, взяв только самые необходимые вещи. Среди них вылез из чемодана и улегся на обшарпанный отельный стол мой верный урод — сургучный огрызок. Это было в Москве.

Потом была поездка в Киев на самый короткий срок, чтобы прочесть на вечеру свой рассказ. В чемодане только бальное платье да сургуч.

Киев. Петлюра. Обыски. Путь на север отрезан. Катимся ниже, ниже. И вот мы с сургучом уже в Одессе. Паника, стрельба. Приветливые ослы черных белозубых войск, ослы, только вчера шедшие головами к нам, хвостами к морю, бегут, подбодряемые палкой, и хвосты их уже повернуты к нам.

Новороссийск. В пустом чемодане один он, выброшенный мной собственноручно в Одессе кусок сургуча. Надоел. Неужто в целом мире не найдется никого, чтобы проводить меня?

Константинополь.

Веселый разговор:

— Может быть, можно что-нибудь еще продать? Боюсь, что скоро окажемся на дне.

— Господа, не бойтесь. Ведь мы уже все на дне. Это и есть дно. Видите, как просто и совсем не страшно. Разломаем этот бублик на четыре части...

— Может быть, у вас что-нибудь найдется?

— У меня флакон из-под духов и вот... кусочек сургуча.

Париж. Берлин. Я совсем забыла о нем. И вот в тревожный день, когда вся душа дрожала, как те висюльки на абажуре, я написала письмо мирового значения (мирового для моего мира, единственного, в котором живет человек и вместе с которым гибнет). Письмо мирового значения надо было запечатать сургучной печатью. И вот первый раз взяла я его в руки, этот бурый комок, взяла не для того, чтобы бросить, а чтобы использовать. Он зашипел на свечке, оплыл черной лавой, и вдруг упала на бумагу ярко-лазурная неожиданная капля.

Так странно это было, и для души дрожавшей — благословенно, как чудо.

— Так вот ты какой!..

И опять бросила, и опять забыла.

И вот долгая, тяжкая болезнь, больница.

Красные туманы горячки. Круглая голова ласкового тигра без шеи, лежащая на круглом кружевном плато, как усекновенная глава на блюде. Наклоняется надо мной... Ах да — это бывшая квартирная хозяйка фрау... фрау... не помню. Это она в кружевном праздничном воротнике. Она протягивает мне что-то.

— После вашего отъезда, — говорит она, — я нашла в столе вот это. У меня ничто не должно пропадать — я принесла.

Всматриваюсь через колыхающуюся красную мглу — он! Обломок сургуча. Нашел меня, пришел. Столько прожили вместе...

И в эту минуту, в озарении огненной свечи стоявшего у ног моих архангела Уриила, скорбного ангела смерти, тогда пожалевшего меня, увидела я в этом маленьком корявом кусочке то, что в обычной жизни люди видеть не могут: существо безликое, выражающее обликом нечеловеческим человеческую печаль, заботу, и ласку, и страх за меня, и преданность.

— Сколько прожито вместе!

Кто сказал это? Я? Он? Все равно, друг мой маленький, неживой урод, единственный — иди ко мне!

И вот теперь он ушел. Может быть, и не теперь, а давно, а я только случайно сейчас заметила это...

Тэффи
«Ке фер?»

Руководители проекта *В. Лошак, С. Кондратов*
Редактор *К. Мкртчян*
Художественный редактор *Е. Поляков*
Корректор *И. Яковенко*
Компьютерная верстка *В. Круглова*

Подписано в печать 24.12.07 г.
Формат 70x108 1/32. Бумага газетная.
Гарнитура «Журнальная». Печать офсетная.
Тираж 46 000 экз. Заказ № 0806960.

ТЕРРА—Книжный клуб.
127206, Москва, Чуксин тупик, д. 9.



Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

Народная библиотека «Огонька»

С 1 июля в каждом отделении Почты
открыта подписка на следующие издания:

| | | | |
|--|----------|---|---------|
| Универсальный словарь: В 4 томах | 1390 р. | Кассиль А. Собрание сочинений: В 5 томах | 1400 р. |
| Большая Энциклопедия «Терра»: В 62 томах | 74400 р. | Колетт С.-Г. Собрание сочинений: В 7 томах | 1274 р. |
| Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона: В 86 полутомах | 68000 р. | Кристи А. Собрание сочинений: В 13 томах | 1885 р. |
| Популярная Энциклопедия: В 20 томах | 6200 р. | Манн Т. Собрание сочинений: В 8 томах | 2240 р. |
| Детская Энциклопедия: В 10 томах | 4620 р. | Мериме П. Собрание сочинений: В 5 томах | 1250 р. |
| Энциклопедия «Великий час океанов»: В 5 томах | 2250 р. | Монтень М. Опыты: В 3 книгах | 890 р. |
| Андерсен Х.-К. Собрание сочинений: В 4 томах | 1520 р. | Моруа А. Собрание сочинений: В 10 томах | 2580 р. |
| Библиотека античной литературы: В 10 томах | 3200 р. | Песков В. Сочинения: В 9 томах | 2520 р. |
| Блок А. Собрание сочинений: В 6 томах | 1280 р. | Похлебкин В. Сочинения: В 6 томах | 1450 р. |
| Бунин И. Собрание сочинений: В 9 томах | 1830 р. | Родари Дж. Собрание сочинений: В 4 томах | 1220 р. |
| Буссенар А. Собрание сочинений: В 10 томах | 2710 р. | Софья де Сегюр. Собрание сочинений: В 5 томах | 1275 р. |
| Волков А. Собрание сочинений: В 4 томах | 860 р. | Соловьев Вс. Собрание сочинений: В 9 томах | 2080 р. |
| Гарт Б. Собрание сочинений: В 6 томах | 1560 р. | Тэффи. Собрание сочинений: В 5 томах | 905 р. |
| Герцен А. Избранные произведения: В 5 томах | 1255 р. | Уэдсли О. Собрание сочинений: В 6 томах | 1308 р. |
| Гоголь Н. Собрание сочинений: В 7 томах | 1610 р. | Флеминг Я. Собрание сочинений: В 7 томах | 1540 р. |
| Гранин Д. Собрание сочинений: В 5 томах | 1075 р. | Фолкнер У. Собрание сочинений: В 6 томах | 1194 р. |
| Грин А. Собрание сочинений: В 6 томах | 1242 р. | Хаггард Г. Р. Собрание сочинений: В 12 томах | 2880 р. |
| Диккенс Ч. Собрание сочинений: В 20 томах | 4200 р. | Чарская Л. Собрание сочинений: В 5 томах | 910 р. |
| Долгополов И. Мастера и шедевры: В 6 томах | 1500 р. | Чуковский К. Собрание сочинений: В 5 томах | 1025 р. |
| Ефремов И. Собрание сочинений: В 8 томах | 2160 р. | Ян В. Собрание сочинений: В 5 томах | 1310 р. |